

Юрий Кудлач

Ариетта

– Серега, тебя проректор вызывает.

Анна, секретарь ректора, сообщившая Сергею эту весть, была его тайной страстью. Не очень красивое простоватое лицо ее многократно компенсировалось длинными стройными ногами. Походкой она напоминала легко гарцующую молодую лошадку. Густая челка, доходящая до самых слегка раскосых зеленоватых глаз (ядра – чистый изумруд, повторял про себя Сережа), и собранные на затылке в конский хвост черные волосы делали эту ассоциацию почти конкретной. Когда Сережа видел ее волнующуюся при ходьбе грудь, он впадал в ступор и отчаяние. Анька все это прекрасно видела, понимала и жестоко кокетничала с ним. Иногда она даже позволяла ему слегка потискать себя в каком-нибудь темном консерваторском уголке. Но всегда вовремя кошачьим движением уворачивалась, когда он, тяжело дыша и плохо соображая, пытался задрать ее короткую юбку. «Тс-с! – говорила она, прикладывая пальчик к сочным губам, – низ-зя!» И многообещающе улыбаясь, исчезала за углом. По всей видимости, Анне нравились его бесплодные домогательства. Она даже сама назначала ему свидания, сценарий которых всегда оставался неизменным. «Москва – динамо, а ты – упрямо», – саркастически комментировал Сережины переживания Игорек, его консерваторский друг и confident.

– Тебя проректор вызывает, – повторила Аня. И заговорщицким шепотом добавила: – Завтра в девять у Дюка.

Вызов к начальству ничего хорошего не обещал. И хотя Сережа себя ни в чем виноватым не чувствовал, он заволновался – да мало ли что им там в голову придет. Эти ребята всегда найдут к чему прицепиться. Но на этот раз пронесло. Проректор вызвал

его для того, чтобы предупредить Сережу, что он в обязательном порядке должен принять участие в концерте для какой-то московской комиссии.

– Надо им напомнить, – сказал проректор, – что их хваленые москвичи это бывшие наши одесситы.

Проректор был большим патриотом родного города.

Выйдя из высокого кабинета, Сережа пошел к своему учителю, чтобы сообщить ему новость и обсудить программу для этого выступления.

С Павлом Яковлевичем Гальпериным, которого за непомерную любовь к Шопену и по созвучию с именем-отчеством за глаза называли Полякыч, у Сережи Оленина были не совсем обычные отношения студента с профессором. Если бы не гигантская разница в статусе и возрасте, их можно было бы назвать дружескими. Добрейший Павел Яковлевич любил Сережу, как собственного сына. Он, не скрывая, гордился тем, что в его классе учится такой яркий, такой талантливый пианист с большой перспективой. Полякыч всячески опекал своего любимца и даже иногда, зная о том, что тот из очень бедной семьи, снабжал его деньгами. Делал он это с ловкостью трамвайного вора – как бы по-отцовски приобнимая Сережу, он незаметно засовывал ему в карман десятку, а иногда и двадцатипятирублевую купюру. Когда Сережа первый раз обнаружил в своем кармане деньги, он долго не мог понять, как они туда попали. Отбросив все невозможное, он вычислил Павла Яковлевича. Краснея от раздиравших его душу противоречивых чувств – благодарности, стыда, радости – деньги-то позарез нужны, он пошел объясняться. Гальперин выслушав его сбивчивую речь, отпираться не стал:

– Сам был молодым и бедным. Тебе эти гроши карман не оттянут – девочки-припевочки, белы рукава. Да и друзей иногда бокалом пива угостить... Ты пиво пьешь?

– Да что вы, Пал Якч! Какое пи... Ну, пью. Иногда.

– Вот видишь! – обрадовался профессор. – Значит, десятка-другая тебе лишними не будут.

– Неудобно мне, Пал Якч. Что это вы мне, прямо как нищему...

– Это, Сережа, не милостыня, а выгодное вложение капитала: станешь лауреатом – отдашь.

С той поры Гальперин перестал исхитряться, а деньги, которыми он подкармливал Сережу, называл «законные лауреатские».

– Ну и хорошо, что тебя в этот концерт поставили, – сказал Полякыч, – почетно! Ты будешь защищать честь вуза. Надо из твоей программы выбрать что-то такое, чтобы всех наповал. Сыграешь Двенадцатую рапсодию Листа и «Кампанеллу». Скажу откровенно, хотя это и не очень педагогично: так, как ты «Кампанеллу» играешь, у нас давно никто не играл, – помолчал и добавил: – Пожалуй, со времен Мили Гилельса.

– Тихо, тихо, – спохватился он, видя, как Сережа расправил плечи, – ноздри не раздувай и не строй тут из себя Конька-Горбунка. До уровня Гилельса тебе еще расти и расти. И неизвестно, дорастешь ли. Так что, иди заниматься. Нечего тут!

– Да я что? Я ничего... – Сережа завздохал и стал переминаться с ноги на ногу.

– Ну, что ты стоишь? Иди, я сказал.

– Пал Якч, – робко сказал Сережа, – а можно я лучше 32-ю сонату Бетховена сыграю? Я же к бетховенскому конкурсу готовлюсь. Тут такой случай – можно обыграть: наверняка полный зал будет.

Гальперин поморщился:

– Ну, зачем тебе эту философию разводить? Публика официальная, может неправильно понять. Хотя... С другой стороны... Иди, я подумаю.

...Едва перебирая ватными от животного ужаса ногами, Сережа кое-как добрался до рояля. Он начал выступать еще в младенчестве и должен был бы к сцене давно привыкнуть. Привыкнуть должен был. Но не привык. Дорога от кулисы к роялю была его *Via dolorosa*. И в этот раз, сгибаясь под тяжестью своего креста, он шел, физически ощущая на себе холодные любопытные взгляды. «Да как он смеет?! Распни его!» – молчаливо кричала толпа. Подавляя желание прикрыть голову руками, Сережа схватился за спасительную черную глыбу рояля и не сел – упал на широкий плоский табурет. Пошарил правой рукой под сиденьем, нашупал винт, крутанул, слегка опуская плоскость, и замер, положив на колени напряженные руки. Он ждал, пока наступит тишина. Ему всегда казалось, что эти секунды перед началом наполнены

высокомерием и недоброжелательством публики – ну-с, дескать, посмотрим-посмотрим, поглядим, чего ты тут расселся. А играть-то ты умеешь? Внезапно Оленина охватила злоба. Это необходимое состояние, спасительное, и оно не всегда приходило вовремя. Но сегодня оно пришло. Страх куда-то исчез, Сережа поднял руки, и мрачный императив начала великой сонаты опус 111 вспорол тишину зала. Молнией сверкнул заключительный пассаж первой фразы и, хотя следующая за ним пауза была короткой, как человеческая жизнь, Сергей внутренним взором успел увидеть, что от этого напора, от этого посыла, от этой бешеной энергии публика будто качнулась назад. «Все. Зал мой!» – мысль взлетела под потолок и рассыпалась шипящими искрами.

.....

Почему мне так тревожно, Лепорелло? Ведь мы здесь одни – я и Донна Анна. Как холодно в этом огромном рыцарском зале, как пусто. И Донна Анна – она, как лед, которого не растопить. Где найти слова, где их взять? Почему ты плачешь, Анна, Анечка моя? Ты боишься? Кого? Меня? Себя? А что это за колючие секунды в малой октаве? Они идут вниз, вниз. Их нельзя удержать. Я не могу их удержать, у меня нет сил! Мне остается только следовать за ними. Я не хочу! Не хочу!!! Но они неумолимы. Вот они уже в большой октаве. Куда же ниже – ведь скоро конец, клавиатура кончается. Аня, смотри, они уведят меня от тебя. Ты снова отказываешь мне. А что это за глухой рокот там, внизу, в подземелье? Шаги... Кто это? И вот она – Тема! Три тяжелых удара в дубовую дверь! Не открывай, Анна! Молю тебя, не открывай! Я сам его позвал, будь оно все проклято! Опять он стучит! Дверь настезь! Что за адские вихри?! До, ми бемоль, си – три удара! Это Командор, это судьба, не уйти, не спастись! Душа дрожит – струна ничто в сравнении с этим напряженьем. Держись, Сережа, держись! Еще три такта. Два! Один! Ф-ф-фу! Можно чуть-чуть передохнуть, дыхание перевести. Это побочная. Как она нежна. Сколько любви. Можно, я к ней только слегка прикоснусь? Как бы я хотел здесь навсегда остаться... Но нельзя, нельзя... Вперед! Не миновать того, что предписано судьбой. Вот, вот самое страшное. Ревущий водопад! Понеслась душа в рай! Фугато! Оно рвется из рук. Терпи, Сережа! Удерживай, удерживай, иначе захлестнет...

Проскочил! А что это за жуткие, мрачные уменьшенные аккорды? Так ведь это... Не может быть! Неужели конец? Да, всё – это ступеньки в преисподнюю. Надо идти. Я гибну – кончено – о, Донна Анна!

.....

Сереза медленно отклеил руки от последнего аккорда, подержал полсекунды в воздухе и плавно погрузил их в чистый до-мажор Ариетты. «Темп хорош – угадал! Как раз так, как хотелось, – медленно, но текуче, – подумал он, – сейчас главное – не заторопиться». Его пульс попал в точный резонанс с трехдольностью дивной завораживающей мелодии. Вот появились ложно-синкопированные шестнадцатые в левой руке. И в это мгновение что-то произошло, какое-то волшебство. Возникло дивное и диковинное ощущение, будто и он, Сергей Оленин, и рояль, и Бетховен, и Ариетта вдруг обратились в одно гармоничное существо. Сергей смотрел на свои пальцы, совершающие привычные движения по клавиатуре, но они точно принадлежали не ему – может быть, они стали частью рояля. Они больше не играли на нем – это он, рояль, играл ими. Картинка эта стала постепенно удаляться. А музыка шла, переливаясь пассажирами, вспыхивая алогичными синкопами и светясь каким-то особым светом – не дневным, не электрическим, а таким, какого Сереза никогда в жизни не видел. Этот ангельский свет нес с собой неземное наслаждение. Ничто – ни радость любви, ни упоение могуществом, ни обладание женщиной – ничто из наслаждений, доступных человеку, не могло сравниться с этим. Сергей прикрыл глаза. Он упивался ощущением бестелесности. Ему казалось, что он, как горный дух, парит над роялем, над залом, над землей. Из всех мыслей осталась одна: только бы это продолжалось бесконечно! Только бы это счастье не закончилось! Но музыка текла, не останавливаясь, неизбежно приближая финал. Вот уже последняя страница, вот уже пальцы, как крылышки колибри, трепещут в трелях, вот уже наступает последний секстовый пассаж... Еще мгновенье – и все будет кончено. Навсегда. Последний раз: до-о-о – соль-соль – маленький кусочек божественной темы, все, что осталось от счастья. Теперь два такта без *ritardando* – и конец.

Сереза поднял руки, подождал, пока космический до-мажор, покачиваясь, растворился в невозвратимости, и опустил руки на колени. Публика молчала. Ни хлопка, ни шороха, ни скрипа кресла – ничего. Сереза подождал несколько секунд, затем встал и, не поклонившись, побрел к кулисе. «Под цокот собственных копыт», – с горечью подумал он. Это был провал. В кулисе неподвижно стоял выпускающий и молча глядел на приближающегося к нему Оленина. «Ну почему я не послушал Павла Яковлевича?! Что теперь будет?» В эту секунду раздался грохот. Будто обвалилась стена. Сереза вздрогнул. Он не сразу понял, что это. Уже входя в кулису, он оглянулся на зал. Все люди стояли. Они стояли и молча смотрели на него. И тут точно вода прорвала плотину. Нестово аплодируя и что-то крича, люди рванулись к сцене. В проходе образовалась давка. Те, кто не смог попасть в проход, отталкивая друг друга, полезли через кресла. Московская комиссия, сидевшая в первом ряду, мгновенно пошла на дно этого водоворота. Сергей застыл возле кулисы, с ужасом глядя в зал, – такого он никогда не переживал – вот уж поистине звездный час. Он растерянно и неловко поклонился и убежал в кулису. Там стояла Донна Анна. Глаза ее были полны слез.

Ганновер

